

УДК 82-94
ББК 63.3(2)
Б 94

Оформление *Б. Протопова*

Бушин В. С.
Б 94 Тотальный проект Солженицына / Владимир Бушин. —
М. : Алгоритм, 2013. — 224 с. — (Как Путину обустроить
Россию).

ISBN 978-5-4438-0474-3

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения и 5 лет со дня смерти А.И. Солженицына. Его работа «Как нам обустроить Россию» стала своеобразным планом по преодолению глубокого кризиса в нашей стране. Президент России В.В. Путин встречался с Солженицыным и беседовал с ним на этот счет. Проект Солженицына и по сей день используется для создания различных программ развития Российской Федерации.

Автор данной книги В.С. Бушин знал А.И. Солженицына еще до высылки последнего из СССР. Позже Владимир Бушин занялся подробным исследованием жизни и творчества Александра Солженицына, собрал огромное количество фактического материала о нем. В результате у Бушина появился свой взгляд на деятельность этого человека и на его знаменитый проект по переустройству России.

УДК 82-94
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-4438-0474-3

© Бушин В.С., 2013
© ООО «Издательство «Алгоритм», 2013

ВВЕДЕНИЕ

Есть в русском языке слова, термины, выражения, которые, казалось бы, всегда несут в себе только добрый смысл, только положительный заряд. Во всяком случае, именно так многие воспринимают, например, слово «писатель» или выражение «властитель дум». Это обнаруживается, в частности, в тех случаях, когда тот или иной автор осуждает за что-то того или иного писателя и берет слово «писатель» в кавычки, желая этим сказать, что никакой, мол, он не писатель. Но это неверно. Нравится он нам или нет, хороший или плохой, талантливый или бесталанный, но если человек занимается литературным трудом, пишет книги, то он писатель, — хоть ты тресни! Это просто род занятий, профессия.

То же самое можно сказать о выражении «властитель дум». В сборнике Н. Ашукина и М. Ашукиной «Крылатые слова» (М., 1966) о нем сказано: «В литературной речи оно применяется вообще к великим людям, деятельность которых оказала сильное влияние на умы их современников». Слово «великим» как бы содержит намек на положительный смысл выражения. Но ведь и само понятие «великий» неоднозначно.

Более четкое, т. е. «нейтральное», «чистое», определение дано в 17-томном академическом Словаре русского литературного языка (М., 1951): «Властитель дум, сердец, настроений и т. п. — человек, привлечший к себе исключительное внимание современников, политический деятель, писатель, философ и т. п., оказавший большое влияние на общество». Тут ни о каком величии властителя не говорится, и правильно.

В этом смысле Александра Солженицына вполне можно считать властителем дум своего времени, ибо его сочинения были изданы огромными тиражами в России и во многих странах мира, о нем возникла целая литература. Театры (даже Малый!) ставили инсценировки по его сочинениям, его избрали в Академию, наградили высшим орденом страны и т. д. В результате всего этого, как сказано в упомянутом словаре, он действительно «оказал большое влияние на общество».

Я утверждаю, что Солженицын явился родоначальником, толчком того нравственного обвала и разложения, той деградации общества, что ныне мы видим на родной земле. Если у читателя хватит терпения и мужества осилить эту книгу, то, думаю, он убедится в справедливости такой оценки.

ЛУЧШИЕ СОРТА ЛЖИ

Утром 19 мая 1967 года, в пятницу, я получил по почте письмо — невзрачный бледно-желтенький конверт. Мой адрес сиял на нем великолепной точностью и исчерпывающей полнотой, как жемчужная нить на шее простушки: тут и буквенно-цифровое обозначение почтового отделения (шестизначные индексы еще не были введены); и «ул.», поставленное, как полагается, перед названием улицы, а не после; и мое имя-отчество — целиком, безо всяких усечений. Адрес был напечатан на машинке, и выразительные возможности машинки использованы до конца: слово «Москва» отстукано большими буквами и вразрядку, моя фамилия — тоже вразрядку, но обычными буквами, а два слова, составляющие имя-отчество, размещены немного ниже так точно, что левее фамилии выступало пять букв (Влади...) и правее — тоже ровно пять букв (...евичу).

Эта тщательная обдуманность, дотошность, педантичность даже в написании адреса были мне хорошо знакомы, я уже знал, от кого письмо. Можно было и не смотреть на обратный адрес (он, конечно же, тут имелся, аккуратно отделенный от моего адреса темной чертой-отбивочкой), но я все-таки взглянул: «Рязань, 12, проезд Яблочкова, 1, кв. 11». Конечно, именно «проезд», а не «пр.», которое, чего доброго, кто-то примет за «переулок».

Да, адрес именно тот, что я и ожидал. Он был мне известен уже несколько лет, еще с тех пор, когда проезд Яблочкова назывался Первым Касимовским переулком. Зачем уничтожили хорошее и, видимо, географически целесообразное название (должно быть, по переулку пролегал путь в город Касимов), почему дали переулку имя не кого-

то другого, а П. Н. Яблочкова, это, как нередко у нас, никому не известно. В самом деле, Яблочков вроде бы к Рязани и отношения никакого не имел: родился в Саратовской губернии, учился в Николаеве, в Петербурге, работал в том же Петербурге, в Москве, в Париже, умер в Саратове. Ну, правда, электрический свет, для усовершенствования которого Павел Николаевич так много сделал, в Рязани действительно наличествует.

Тогда в ответ на мое негодующее сочувствие по поводу переименования мой рязанский корреспондент писал мне: «Да, переименование улицы и меня не порадовало, но есть надежда переехать в другую квартиру: три года просил в Рязани — не давали, тогда попросил в Москве — и кинулись давать в Рязани». Кинулись-то, может, и кинулись, да, видно, на пути что-то задержало: прошло уже больше года, а адрес — я видел теперь — оставался прежним. Это, естественно, вызвало сочувствие. Еще бы, человек прошел всю войну, за справедливую критику Сталина отсидел восемь лет в лагерях, стал известным писателем, а у него нет достойной квартиры!

Были и другие причины для сочувствия: я считал в то время, что наши взгляды совпадают не только по вопросам топонимики. Правда, меня тогда несколько смутило, как неожиданно он отозвался на переименование Касимовского переулка: мол, не обрадовало, но я переезжаю на другую улицу. Выходит, лишь бы не жить мне на улице с неудачным названием, а что там в городе, что там на карте страны — не мое дело...

Я хотел было уже взрезать конверт, как вдруг заметил странную вещь: в обратном адресе имя адресата отсутствовало. Разве так случалось прежде? Никогда! Может, просто забыл? Ну! При его-то дотошности? Я пригляделся к почтовым штемпелям. Письмо отправлено вчера, 18 мая, в девять часов вечера, то есть чуть больше полусуток тому назад. И за это время оно пришло из Рязани? Темпы для нашей почты немыслимые. Да, но вот факт же... Впрочем,

нет. Письмо, оказывается, опущено здесь, в Москве, на Центральном почтамте — там, надо думать, письма сортируются быстрее, чем где-либо. Словом, как видно, все сделано для того, чтобы письмо я получил возможно скорее. Зачем? И почему же все-таки не стоит там, где ему положено стоять, имя? Для конспирации? С какой целью?..

Я взрезал конверт. В нем оказалось три листа, заполненных машинописным текстом, — два обыкновенных и один половинный. На этом половинном я прочитал:

«17.5.67

Уважаемый Владимир Сергеевич!

Наша прошлая переписка побуждает меня послать это письмо и Вам».

Ах вот оно что! Значит, это только «сопроводилочка» к основному тексту. Я нетерпеливо заглянул в самое начало этого текста, там стояло:

*«ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(вместо выступления)*

В президиум съезда и делегатам —

Членам ССП — Бушину В. С.

Редакциям литературных газет и журналов — ...»

Ого, ничего себе размах! Сдерживая любопытство, я вернулся к «сопроводилочке»:

«Определяю свое намерение искренне: пусть это письмо напомнит Вам, что и перед Вами в литературе (в жизни) стоит выбор и не бесконечно можно будет Вам его откладывать (как, мне кажется, вы пытаетесь).

Желаю Вам — лучшего.

Солженицын».

За машинописной подписью стояла хорошо знакомая короткая подпись, сделанная шариковой ручкой, — вся состоящая из острых углов и завитушек: АСолж.

Письмецо в четыре с половиной строки вместило многое: и укор, и предостережение, и призыв, и упоминание о прошлом, и пожелание на будущее. «...Перед Вами стоит выбор... и не бесконечно можно будет Вам его откладывать... Желаю Вам — лучшего...»

Он всегда категорически желал мне «лучшего», видимо, стремясь дать понять, что горько сожалеет о том «худшем», в котором я прозябал. Даря в марте 1964 года свою повесть «Один день Ивана Денисовича», начертал на обложке: «Критику Владимиру Бушину с надеждой на все лучшее, что в нем есть и будет». Сейчас, как можно было понять, лучшее для меня состояло в том, чтобы перестать тянуть волынку и сделать же, наконец, тот замечательный выбор, который сам Солженицын, как потом оказалось, сделал уже давно, т. е. последовать за ним. Он лучше меня знал, что для меня лучше...

19 мая, как уже сказано, была пятница, а по пятницам в редакцию журнала «Дружба народов», где тогда работал, мне дозволялось не ходить. Скорее всего, в понедельник, 22 мая, ко мне зашел в мой редакционный кабинетик поэт Наум Коржавин, которого я знал с далеких литинститутских времен еще Эмкой Манделем, и предложил подписать коллективное письмо в адрес Президиума съезда писателей. Я подписал. В письме предлагалось обсудить то самое послание Солженицына, которое я уже получил с помянутой сопроводилкой.

К этому посланию мы еще, может быть, обратимся в ходе нашего повествования, а здесь я замечу лишь, что в нем много было намешано всего. Так, желая охарактеризовать духовную жизнь нашего общества, Солженицын утверждал, например, что «у нас одно время не печатали... делали недоступным для чтения» Достоевского. Это сказано было, конечно, без должного уважения к истине. Как

известно, Достоевский являлся сторонником самодержавия, иные его взгляды и произведения, так сказать, не соответствуют идеям социализма. При этих условиях наивно было бы надеяться, что сразу после свержения самодержавия и социалистической революции его стали бы печатать столь же охотно и широко, как, допустим, Горького или Маяковского, провозвестников этой революции. И тем не менее 23-томное Собрание сочинений Достоевского, начатое до революции петербургским издательством «Просвещение», после Октября не было ни прервано, ни заброшено, ни забыто, и последние тома беспрепятственно вышли уже в советское время. В 1921 году в Москве и Ленинграде (Петрограде) был отмечен 100-летний юбилей Достоевского. Еще раньше на Цветном бульваре был поставлен памятник работы известного скульптора С. Д. Меркулова и открыт музей на Божedomке, к которому позже памятник был перенесен. Вскоре после этого началась подготовка к изданию первого советского собрания сочинений писателя на научной основе, и оно было осуществлено в 1926–1930 годах. А 30-томное академическое в 70–80-х годах?! Всего после революции, по данным на ноябрь 1981 года (160 лет со дня рождения писателя), вышло в нашей стране 34 миллиона 408 тысяч экземпляров его книг. Это получается в среднем около 540 тысяч ежегодно. Где ж тут «недоступный для чтения»? Надо ли упоминать еще и о целой научно-критической литературе о творчестве Достоевского, созданной в советское время?

Далее Солженицын писал, что великого писателя, гордость мировой литературы, у нас «поносили». Это обвинение, как и многие другие обвинения его письма, безадресно. Кто «поносил» — неизвестно. И что значит «поносил»? Достоевский художник сложный, трудный, противоречивый, страстный. Он и сам кое-кого «поносил». Так, Тургенева и Островского иной раз под горячую руку обвинял в шаблонности; о Толстом писал, что тот в сравнении с Пушкиным ничего нового не сказал; Салтыкова-Щедрина

называл Сатирическим старцем; о Константине Леонтьеве говорил, что вся его философия сводится к девизу «Живи в свое пузо» и т. п. Вполне естественно, что у такого художника и среди современников, и среди потомков были да, видимо, и всегда будут как горячие почитатели, так и яростные противники, которые тоже порой не слишком склонны к сдержанности в выражении своих чувств, — и разве им это запретишь? Его не любили такие большие художники, как Чайковский, Бунин. Но уж если речь вести о поношении Достоевского в прямом смысле, без кавычек, то в советское время его не было, а в прежние поры — сколько угодно. Именно тогда, в старое время, на него писали злобные эпиграммы, главной чертой его таланта провозглашали жестокость, даже сравнивали с маркизом де Садом и т. д. И ведь это лежит на совести не кого-нибудь, а Некрасова, Тургенева, Михайловского. Уж не будем оттаивать здесь на критике Страхова, который просто оклеветал писателя.

В письме Солженицына содержались столь же неосновательные обвинения, связанные с именами некоторых советских писателей. Например, он гневно вопрошал: «Не был ли Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»?» Слова-ярлык взяты в кавычки, будто цитата откуда-то, но откуда — опять неведомо! Может, конечно, кто-то и называл так Маяковского до революции, когда в стихах и особенно в публичных выступлениях поэта было много дерзкого эпатажа, но назвать его после революции «политическим хулиганом», т. е., в сущности, врагом революции, которую он сразу принял всей душой и поставил свое перо, по собственному признанию, «в услужение» ей, — так назвать поэта мог бы лишь человек, который отличается, по слову Достоевского, «совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества». Нельзя, естественно, исключать возможности того, что люди именно с подобным способом мышления были среди родственников Солженицына или его знакомых, от ко-

торых он и услышал такую характеристику Маяковского. И запомнил ее, не сумев осмыслить. И не зная, как видно, при этом того, что до революции Маяковский сильно страдал от цензуры. Она не пощадила, допустим, его поэму «Облако в штанах». Полностью удалось опубликовать ее лишь после революции, в марте 1918 года.

Нагнетая мрачные краски в характеристике духовной жизни нашего общества, Солженицын далее уверял: «Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой девять лет назад (т. е. в 1957 году? — В. Б.) было объявлено «грубой политической ошибкой». Снова неизвестно, кем «было объявлено». С какого лобного места? Может, это приснилось? Похоже, что именно так, ибо с тем «объявлением» никто не посчитался, и вскоре издания произведений Цветаевой последовали одно за другим: 1961 год — «Избранное», 1965-й — «Избранные произведения» (большая серия «Библиотеки поэта»), 1967-й — «Мой Пушкин» (позже издан в более полном виде еще два раза)... А сколько этому сопутствовало журнальных публикаций: в «Москве», «Новом мире», «Звезде», «Просторе», в «Литературной Грузии», «Литературной Армении», в альманахах «День поэзии» и «Прометей»... В 1979 году вышли стихи и поэмы Цветаевой в малой серии «Библиотеки поэта» (576 страниц), 1980-й принес читателям ее двухтомник (том первый — стихотворные произведения, 575 с., том второй — проза, 543 с.), 1983-й — «Стихотворения», изданные в Казани 100-тысячным тиражом... И эти издания, эти публикации вызывали большое количество статей, рецензий в тех же упомянутых популярных журналах.

Но автор «Письма» все продолжал класть мрачнейшие мазки: он, допустим, божился, что совсем недавно «имя Пастернака нельзя было и произнести вслух». Имелась в виду злополучная история передачи писателем за границу и опубликования там в 1957 году романа «Доктор Живаго», а также присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии. Это вызвало тогда резкую критику в со-

ветской печати (например, статья Д. Заславского в «Правде» 26 октября 1958 года, в которой Пастернак был назван «литературным сорняком») и повлекло за собой исключение большого художника из Союза писателей. Увы, это было. Но дело, однако же, далеко не доходило до того, чтобы люди боялись произнести имя поэта вслух. Так, в том же 1958 году вышла книга «Стихи о Грузии. Грузинские поэты», и на ее обложке стояло имя не чье-нибудь, а исключенного из Союза писателей Пастернака. Позволю привести еще пример из собственной литературной работы. 13 сентября 1958 года я опубликовал в «Литературной газете» статью «И вечный бой!», посвященную роману Анатолия Калинина «Суровое поле», и там цитировал популярнейшие строки Пастернака. Да не в подбор, как ныне газеты цитируют даже Пушкина, а как полагается — стих под стихом. Было это, повторяю для Солженицына, в «Литгазете», где я тогда работал, на глазах у всех и в самый разгар критики опального поэта, однако — я остался жив!

Да, у многих советских писателей жизненная и творческая судьба в годы так называемого «культа личности» оказалась трудной, а порой и трагической, но Солженицын, внося смуту в вопрос, в котором необходимы абсолютная достоверность и точность, в своем письме еще более все это драматизировал, усугублял, ухудшал, не останавливаясь перед прямым искажением фактов. К тому, что уже сказано, можно добавить, например, его утверждения (и, разумеется, чрезвычайно гневные!), будто для Николая Заболоцкого «преследование окончилось смертью», а Андрея Платонова «уничтожили». Заболоцкий, как об этом сказано в Краткой литературной энциклопедии, действительно «в 1938 году был незаконно репрессирован; работал строителем, чертежником на Д. Востоке, в Алтайском крае и Караганде», но в 1945 году его полностью реабилитировали, он вернулся в Москву и пишет в это время много прекрасных стихов, а в 1948 году выходит его книга «Стихотворения». Умер Николай Заболоцкий своей смер-

тью в Москве 14 октября 1958 года пятидесяти пяти лет от роду. Что же касается Платонова, то он вообще никогда не был репрессирован. И никто его не «уничтожал», а умер он опять же своей смертью, в Москве, на пятьдесят втором году жизни. Как видим, уже тогда, при первом появлении, Солженицын врал напраполю...

Но все сказанное вовсе не означает, конечно, что у нас не находилось людей, порой и достаточно влиятельных, которые чрезмерно осторожны, а то и враждебны по отношению к тем или иным из названных здесь писателей или к отдельным их произведениям. Кое-что об этом мы уже сказали. Можно и добавить.

В 1935 году издательство «Academia» выпустило роман Достоевского «Бесы». Это вызвало чрезвычайно резкий протест уже упоминавшегося Д. Заславского, весьма известного и деятельного в ту пору журналиста. Он выступил со статьей, которая была озаглавлена не как иначе, а — «Литературная гниль». Факт более чем прискорбный, но он не остался без достойного ответа. И ответил не кто-нибудь, а сам Максим Горький, отношение которого к Достоевскому, при всем восхищении его изобразительной силой, во многих аспектах было весьма критическим. Он писал: «Мое отношение к Достоевскому сложилось давно, измениться — не может, но в данном случае я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы»...»

Да, прискорбные факты в нашей многоликой литературной жизни случались, горькие дела были, но в письме Солженицына плотным косяком шли главным образом вымыслы о ней. Мы видим, что доводы против них, как говорится, не лежали на поверхности, а требовали поиска, наведения справок, сопоставления фактов, размышлений. Одни проделать такую аналитическую работу были неспособны, другие просто не хотели. Тем более что ведь и в голову не могло прийти усомниться в правдивости человека, который тут же, в этом письме, называл себя «всю войну провоевавшим командиром батареи», о котором ав-

торитетные люди писали как о невинной жертве произвола. Вон в какое возбужденное состояние привели именно эти слова молодого и темпераментного Георгия Владимова, который тоже получил письмо и теперь писал съезду: «Гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... Это происходит на пятидесятом году *революции*... Я хочу спросить полномочный съезд — нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?» Мне лично не было необходимости обращаться к съезду для разрешения вопроса о моей нации, но — зная, где гении, я недостаточно был осведомлен о подонках, шептунах и стукачах. Именно поэтому-то отчасти и подписал я письмо, принесенное мне Коржавиным 22 мая 1967 года.

Однако, с другой стороны, в письме Солженицына встречались и утверждения, в правильности, справедливости которых не мог сомневаться даже самый недоверчивый человек. Так, умело играя на неповоротливости наших издателей, автор с большим пафосом возмущался прискорбным фактом длительного неиздания у нас Мандельштама, Пильняка, Волошина, Клюева, Ремизова, Гумилева и уверенно заявлял, что они «неотвратно стоят в череду». Время показало, какой ловкий это был ход: в последующие годы действительно вышли сборники и Мандельштама (1975), и Пильняка (1976), и Волошина (1977), и Клюева (1977), и Ремизова (1978), и вот впервые после 1935 года издали «Петербург» Белого (1979), и скоро мы перестали платить по пятьсот рублей за парижские и вашингтонские издания Гумилева, который не выходил у нас с 1925 года.

Иные читатели солженицынского письма воспринимали его, вероятно, так: автор, бесспорно, прав в отношении Мандельштама, Гумилева и других, следовательно, столь храбрый и честный человек, он прав и во всем остальном. Эти люди не знали того, что, конечно же, прекрасно знал автор письма: лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды.

Я же считал, что обсудить письмо, как это предлагалось в том обращении к съезду, которое принес мне Коржавин, вовсе не значило принять все его идеи и требования. Главным у Солженицына было требование «добиться упразднения всякой цензуры». Ленинградский писатель Виктор Конецкий, которому автор тоже направил свое послание, писал в адрес Президиума съезда, возражая на упомянутое категорическое требование: «Во всех государствах при всех режимах, во все века была и необходима еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура». Надо думать, среди делегатов съезда оказалось бы достаточно писателей, которые тоже нашли бы веские возражения как по этому, так и по другим пунктам письма. Словом, в ходе коллективного обсуждения обнаружилось бы достопаечальные свойства солженицынского демарша. Увы, у руководства Союза писателей и у таких его опекунов в ЦК, как А. Яковлев, не хватило ни смелости, ни сообразительности пойти на это.

Правда, тогда многое еще никак не могло обнаружиться даже при самом активном обсуждении. Так, на съезде не могло обнаружиться, что за словами «всю войну провоевавший командир батареи» стояли, как позже выяснилось, факты, несколько отличные от прямого смысла этих слов. И поэтому письмо Солженицына, разосланное им, как потом он сам признался, в 250 адресов, смутило дух и привело в крайнее возбуждение не одного лишь темпераментного Владимова. Его ровесник ленинградский поэт Владимир Соснора, будучи твердо уверен, что Солженицын — «пламенный борец с ненашей идеологией», с еще большей уверенностью предрекал в своем огненном послании Союзу писателей: «Через две недели не будет ни одного (!) человека в России, и не только в России, который не прочитал бы это письмо». Виделось ему, что все человечество, отложив самые срочные дела, остановив поезда и погасив домны, вот-вот засядет за чтение потрясающих страниц о том, как уничтожили Платонова и как Александр Исаевич

с первого до последнего дня войны бесстрашно командовал своей смертоубийственной батареей.

Впрочем, не будем так строги к молодым тогда авторам, хотя один из них уже написал тогда двадцать четыре поэмы, каждая из которых равна «Медному всаднику» по объему. Не совсем трезво вели себя в те дни и некоторые литературные аксакалы. Вот Валентин Катаев. Ему было уже семьдесят. Мог бы, казалось, не буйствовать и понимать, что к чему. Но он наперегонки с тридцатилетними помчался на почту и отстукал в адрес съезда телеграмму, в которой оповещал: «С основными положениями письма я вполне согласен». С какими именно, не уточнял. Так и останется, увы, неизвестным, считал ли он «основным», допустим, «положение» письма о том, что у нас в стране «поносили» Достоевского, или о том, что Маяковский, которого Катаев хорошо знал лично, жил в советское время и разъезжал по советской стране с ярлыком «политический хулиган».

Еще более почтенный по возрасту Павел Антокольский, тоже сочинивший письмо, объявлял в нем Солженицына «наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Л. Толстого, А. М. Горького» и призывал съезд покаяться перед этим вроде бы даже единственным «наследником»: «все мы в ответе перед ним». На колени, мол, братья писатели!

У иных аксакалов отрезвление не настало и по прошествии довольно длительного времени после съезда. Так, Твардовский даже и через восемь месяцев, в январе 1968 года, все еще уверял: «Я не помню даже попытки опровергнуть хотя бы один (!) из его (солженицынского письма. — В. Б.) пунктов, объявить их ложными... Почему? По той причине, что они в основе своей неопровержимы». Словом, маститый писатель вел себя почти так же, как тот ленинградский бурный талант, который за пятнадцать лет написал двадцать четыре «медных всадника». Прошло еще полгода, и в июле Лидия Чуковская все продолжала твердить: «Оп-